



Вера СЫТНИК
г. Ессентуки

В ОЖИДАНИИ ПАСХИ

В КИТАЕ — ЗВУКИ РУССКОЙ БАЛАЛАЙКИ Рассказ

Опустив плечи и свесив лохматую голову набок, Игорь сидел у стола и вяло перебирал арахис, очищая земляной орех от скорлупы. Плоды, продолговатые, толстенные, под лоснящейся ярко-красной оболочкой горкой накапливались в глубокой тарелке. Рядом лежали пузатые головки чеснока и стояла бутылочка чёрного соевого соуса. Всё, без чего не обходится ни один приём пищи в Китае, будь то ресторанная еда или домашняя. Произвольно составленный натюрморт в полной мере отражал богатства Шандуньской провинции, которая прославилась на весь мир арахисом, чесноком и соевым соусом. Эти продукты по долгу своего пребывания здесь Игорь закупал небольшими партиями и отправлял в Россию.

Громадные теплицы окружали шестимиллионный город Яньтай, где он жил, со всех сторон. Не было ни одного мало-мальски свободного участка, не тронутого властной рукой китайца, способного превратить пустырь или каменистую делянку в цветущий огород. Когда Игорь выезжал в фермерские хозяйства для закупки арахиса, он наблюдал картину, ужасающую своей прагматичностью. Вид земли, сплошь покрытой целлофаном на многие десятки километров, неприятно поражал его. Куда ни глянь, везде блестела плёнка. Ни деревца, ни травинки, ни даже тропинки. Один целлофан, натянутый на железные прутья. «Как земля дышит? — удивлялся Игорь. — В чём берёт силы, чтобы восстановиться от удобрений?»

Ему казалось невозможным так нещадно эксплуатировать её, выжимая все соки, однако он этим кормился. Осознание столь незамысловатой истины корбило Игоря. Он был

гуманистом и считал, что данные Богом ресурсы надо расходовать с умом, не травмируя природу. Тут же видел обратное: верхние слои почвы истощались, а потому китайцы устремляли свои алчные взоры в сторону пограничного с ними Забайкалья. Игорь морщился, но продолжал посылать в Россию овощи, выращенные на истомлённой китайской земле, которую почему-то было жалко.

Он кормился сам и кормил родителей, живших в Забайкалье. С детства привык к раздольным, ничем не занятым просторам родного края. Там Игорь появился на свет и вырос, в Чите окончил музыкальное училище, факультет народных инструментов, там остались его мать с отцом и сестрой, его друзья. Они — там, а Игорь в Китае, куда приехал ещё до мировой пандемии, в 2018 году. Понял, что ему не прожить на зарплату учителя музыкальной школы, и рискнул пойти в предприниматели. Год поработал, наладил связи-дороги, и грянула напасть — эпидемия космических масштабов! Игорь мог, но не захотел уезжать. Остался, чтобы сохранить бизнес, который едва теплился три года, а потом снова пошёл в гору.

К 2024-му всё наладилось и вернулось к прежним объёмам. Арахис, чеснок и соус исправно поставлялись в Россию. Игорь пропах смесью этих продуктов, особенно чесноком, который приходилось тщательно просматривать, чтобы не попала бракованная партия. Ему давно надоел земляной орех, но во время Великого поста, когда не сильно, но всё же ограничивал себя в пище, арахис оказался незаменимым продуктом.

Игорь, наученный китайцами, отваривал его в солёной воде и затем добавлял в различные блюда. Просто бросал горсть в овощи или в суп — и всё, никакой сложности. А вымоченные в соевом соусе орехи вообще были кулинарным шедевром: аппетитно хрустели на зубах, придавая блюду неповторимый изыск, чем-то похожий на устричный привкус.

О Великом посте Игорю напомнила мать. Позвонила специально и сказала:

— Сынок, ты уж не ругайся, не сквернословь во время поста. Держи уста в строгости, это важно для чистоты души.

— Ма, ну ты же знаешь, я не любитель, — ответил Игорь, недовольный, что она предупреждает не делать того, в чём его нельзя упрекнуть.

— Всё равно... Всё равно, на всякий случай говорю. По возможности избегай мясного и хоть изредка, но молись, дружок.

Сколько Игорь себя помнит, а ему уже тридцать, мать всегда давала наставления перед началом любого поста — ему и младшей сестре. Игорь не возражал. Ему нравилось время поста. Особенно в детстве. Всё становилось немножко незнакомым: торжественно и сурово выглядел дом. Яркие вещи убирались и вынимались из шкафов тёмные накидки на подушки и на диван с креслом. Исчезали цветные занавески на кухне, взамен вешались однотонные, серые. Комнаты и всё, что в них находилось, замолкали, даже кот становился тихим, может, потому что Игорь не дёргал его за хвост? Но и собака во дворе лаяла меньше, чувствуя настроение хозяев, и даже корова в стайке мычала реже, покорно дожидаясь, когда ей принесут соломы. Мать, энергичная хохотушка, вела себя непривычно сдержанно. Отец же больше молчал. Он, в отличие от матери, не ходил в храм, но, уважая чувства жены, всегда её поддерживал.

После телефонного звонка прошло недели три, осталось совсем ничего до Пасхи, которую Игорь отмечал тем, что лез на вершину горы и оттуда взирал на город, который протянулся на берегу Бохайского залива, части Жёлтого моря. Всё, как китайцы любят: слева море, справа небольшие горы. Они покрыты лесом и гармонично вписываются в микрорайоны. Их несколько: все истоптаны тропинками среди деревьев, уставлены резными беседками с конусообразными крышами, у которых загнуты вверх края деревянными скамейками и валунами. На покатых боках одного из валунов золотом высечено изречение Лао Цзы.

За шесть лет Игорь научился разговорному китайскому языку, но — только разговорному. Поэтому прочитать цитату из Лао Цзы не мог. Её перевёл китайский друг. На камне написано: «Будьте внимательны к своим мыслям. Они — начало поступков».

— Хороша философия! — усмехнулся Игорь, впервые услышав перевод. — Наша мама нам с детства твердит, чтобы мы не спешили что-то сделать или сказать, тем более в незнакомом обществе, а сначала хорошенько подумать.

— Твоя мама не читала Лао Цзы, но мудрая, как наш древний мудрец! — воскликнул китайский друг. — Почему так?

— Потому что верит в Бога. А Бог велит держать свои мысли в чистоте.

— Как это? — удивился Ван, который всегда понимал Игоря слишком буквально. — Мыть их, что ли?

— Не мыть. А не иметь плохих помыслов, гнать их прочь от себя. Это и есть внимание к своим мыслям. Разве не так?

Китаец согласился, поразившись, что русский Бог и китайский мудрец Лао Цзы мыслят и говорят одинаково.

Одна гора возвышается недалеко от дома, где Игорь арендует квартиру. Обычно в день Пасхи он взбирается наверх, смотрит на Яньтай и долго-долго сидит, вспоминая Забайкалье, непохожее на раскинувшуюся перед ним панораму. В редкие минуты соединения с природой им овладевает грусть. Горы для него — это чужое. Хочется домой, в степь, где взгляду не на чем споткнуться! Чтобы воздух в лицо и высоченное небо над головой. Такого неба нет нигде, только в Забайкалье. В Яньтае оно серое, солнце не видно. Создаётся впечатление, что светило намертво взято в плен сизой дымкой, откуда иногда мелькнёт слабый луч и тут же исчезнет, убитый мраком.

Узреть небо можно, лишь взобравшись на гору, откуда хорошо видно, под какой шапкой живёт Яньтай. Вся она — слой пепельного мараева. Да, наверное, и в тот раз пойдёт туда же, на гору. Чтобы в день Пасхи вдохнуть чистого воздуха и ощутить присутствие Бога на земле. Оно, присутствие, чувствуется по разливающейся в душе благодати и по той щемящей токсикой любви к родине, которую Игорь испытывает в эти моменты. Православного храма здесь нет, куличи не продают, а сам печь Игорь не научился, поэтому решено — на гору!

До похода оставалось десять дней. Правда, Игорь мечтал подняться вместе с Татьяной, сво-

ей девушкой. Они познакомились год назад в Чите, в первой половине отпуска, и почти не разлучались. В Китай вернулись вдвоём, воодушевлённые планами на будущее. Но Татьяне здесь не понравилось: не выдержала бесконечных ветров, которые тут и впрямь были невыносимы. Особенно ранней весной: обжигающе-резкие, словно лезвие бритвы, порывы ветра проникали под одежду и, казалось, ранили кожу. Не выдержала холодной квартиры, вечных сквозняков, непривычной пищи и, самое главное, отсутствия общения. Вчера подружка улетела, сказав, что надо отдохнуть, прийти в себя, чтобы принять окончательное решение.

Поэтому Игорь грустил, очищая арахис от скорлупы. Вспоминал недавнее: позавчера это делала Таня, уютно устроившись в маленькой кухоньке. В тёплом спортивном костюме, в тёплых тапочках, с заколотыми на затылке волосами — её вид вызывал умиление. Игорь любовался Татьяной, поглядывая в её сторону через дверной проём. Он сидел за компьютером в комнате и работал. Вздрогнул, когда Татьяна вдруг бросила перебирать орехи, вскочила, вбежала к нему с горящими от гнева глазами и крикнула:

— Надоело! Обьелась твоим арахисом! Хочу творога, йогурта, а ещё поговорить с кем-нибудь, кроме тебя! Поболтать с девчонками!

Заплакала и ушла собирать чемодан. В ушах Игоря до сих пор стоят её жалкие всхлипывания. Кончики его пальцев стали липкими и чёрными. Горка арахиса высилась в тарелке, напоминая о недавней ссоре. За мыслями Игорь не заметил, как увлёкся и начистил больше, чем требовалось. Ужин готовить расхотелось. Он сполоснул руки, клюнул несколько орешков и вышел на балкон.

Стоял вечер. Ранние сумерки окутали двор. Уже зажглись подслеповатые фонари и под ними было видно, как за маленьким столиком собрались китайцы. Что-то кричат, жестикулируют! С наступлением тепла они выходят из квартир и приступают к играм. Как правило, это карты или сянци, китайские шахматы. Звуки ударов деревянных шашек слышны до самой ночи. На улице, между тем, буйствовала весна. Кусты граната, растущие возле дома,

посылали в прохладный воздух слабые струйки сладковато-кислого, терпкого запаха. В темноте не видно, но Игорь знал: на ветвях, среди листвы уже зажглись оранжево-красные цветы, по форме похожие на бумажные фонарики, которыми китайцы любят украшать свои подъезды и улицы.

Внезапно со стороны моря — до него было минут пять ходьбы — послышалось пение, усиленное микрофоном. Женский голос исполнял русскую песню: «Ой, цветёт калина в поле у ручья, парня молодого повстречала я!» Игорь прислушался: точно, «Калина...» Кто бы это мог быть? Песня, прерываемая звуками шашек, закончилась. Игорь в недоумении постоял ещё некоторое время и вернулся в комнату.

На следующий вечер история повторилась. Песня зазвучала до того, как началась игра в шахматы. Тихий ветерок доносил до Игоря слова русской песни. Движимый любопытством, он закрыл квартиру и побежал к морю. Это было близко: через двор направо, на улицу, минута по подземному переходу, и ты на дорожке, по бокам которой стояла распустившаяся сакура, источая умопомрачительный аромат нежности. В свете фонарей розовый цвет её лепестков, собранный в огромные букеты, казался пылающим рассветом. Будто облако, пронизанное лучами солнца, опустилось на землю! Но вот и набережная с фонтаном посередине, раскинувшаяся от него вправо и влево на сотни метров.

Набережная была увеличена в размерах буквально на глазах Игоря. За два года китайцы отвоевали у моря приличный кусок, продлив вперёд, вглубь моря. Она была грандиозна. Вечерами здесь собирались китайцы и устраивали массовые танцы, занимались цигуном или тайчи, или пели. Вот как сейчас та китаянка, которая стояла у парапета и держала в руке микрофон. Игорь направился к ней. Остановился. Он успел на конец песни. Прозвучали последние слова «... не могу открыться, слов я не найду!», и музыка смолкла. Китаянка поклонилась немногочисленным зрителям. Заметив иностранца, улыбнулась.

— Вы знаете русский язык? — спросил её Игорь по-русски.

Женщина не поняла его и стала что-то говорить на китайском. Оказалось, не знает. В прошлом была оперной певицей, сейчас на пенсии, но очень скучает по выступлениям, поэтому приходит сюда и поёт. Как сакура расцветёт, так и выходит. Знает несколько русских песен, но «Калина» — любимая. Всё это, почти дословно, Игорь понял из рассказа китаянки. Он выразил своё восхищение пением и отошёл, а певица затянула что-то из китайской оперы.

Живая музыка разбудила в душе Игоря сокровенное. Он стоял, слушал и вдруг ощутил, что страшно тоскует по своей балалайке, оставленной дома. Вот уже шесть лет, как не брал инструмент в руки, захваченный поставками арахиса. Любовь к балалайке — это у него от деда. До сих пор что-то сжимается в сердце, когда вспоминает, как дед, живший в глухой забайкальской деревушке, брал, исключительно по вечерам, балалайку в руки. Усаживался у окна. Если летом, окно было открыто, и запахи близкого поля врывались в дом. Деревянный, старый, потемневший от времени, с русской печкой, распластавшейся на две комнаты, дом выглядел в представлении Игоря, бывшем тогда шестилетним мальчиком, чем-то вроде сказочного терема.

Зимой окно было закрыто, но дед всё равно садился рядышком, раздвигал занавески, чтобы можно было видеть багряный закат над полем, и начинал играть. Правая рука, расслабленно-мягкая, летала над струнами, извлекая из них звонкие, тонко дрожащие, взрывающиеся к потолку звуки. Левая плавно двигалась по грифу. Балалайка в его руках превращалась в нечто удивительное: она радовалась и стонала, плакала и ликовала, но никогда не бывала просто деревянным инструментом с тремя струнами. В комнату врывалась, в образе девушки, музыка. Так казалось Игорю. Она была столь прекрасна, столь глубок и чарующ был её голос, что Игорю хотелось плакать. Не желая, чтобы его видели плачущим, он выбегал из комнаты, а дед, догадавшись, на время переставал играть, а потом начинал что-нибудь весёлое, и внук возвращался в комнату.

Вспомнив былое, Игорь тотчас же позвонил матери и попросил выслать ему самой скорой

почтой балалайку. Не ту, обыкновенную, с которой учился в училище, а другую, расписанную под хохлому, купленную, когда он с детьми выступал на концертах. Игорь почувствовал, что мать улыбается. Она всё поняла и была счастлива. Посылка пришла перед самой Пасхой.

Игорь развернул упаковку, вынул балалайку из коробки и положил на стол. Вот она, его заветная любовь! Окаймлённая красной полоской по всему корпусу и грифу, с диковинными золотисто-красными цветами, с обилием крохотных ягод, прикрытых зелёными листьями, всё это на чёрном фоне, балалайка была не просто приветом с родины, она была самой родиной. Игорь провёл ладонью по гладкой лаковой поверхности и долго не решался взять инструмент в руки. Как отреагируют пальцы? Не огрубели ли от перебирания чеснока и поднимания тяжёлых ящичков? Не огрубели. Правда, вначале не хотели слушаться: и струны не зажимались, и не поддавались энергичным взмахам. Но уже через полчаса Игорь самозабвенно играл на балалайке, вспоминая свой репертуар — в основном народные напевы.

На следующий день, в самую Пасху, не пошёл на гору, а отправился к набережной. Не стал дожидаться вечера, не терпелось выйти на простор, как на сцену. Душа просила музыки и слушателей. День был чудесный, под стать настроению Игоря. И солнце проглянуло, и ветер утих, и море, мощное и бескрайнее, величественно-спокойное, кажется, подбадривало его всем своим видом. Словно говорило: посмотри на меня, как текут мои волны на берег, смело и уверенно, так потечёт и твоя музыка. Играй! Игорь оглянулся. Как всегда, в воскресный день народу было много. Китайцы бродили по набережной, кто-то спустился к морю и ходил по песку, большинство же фотографировались.

Игорь приготовился играть. Он устроился в центре, недалеко от фонтана, у клумбы с декоративной цветной капустой, прямо на бордюре, и тронул струны. Балалайка, вначале зазвучавшая робко, постепенно стала выдавать всё, на что была способна в руках своего хозяина. Звуки её, такие слабые в рамках огромного

пространства, не потерялись в нём, а сконцентрировались и приобрели особенную силу. Проходившие мимо китайцы остановились и приблизились к клумбе. За ними последовали другие, и вскоре вокруг Игоря собралась толпа народа. Люди даже толкались, пытаясь разглядеть иностранца, играющего на чудном инструменте, чем-то похожем на пипу, китайскую лютню. Но у пипы отсутствует резонаторное окно и четыре струны. А тут дырка посредине корпуса и всего лишь три струны! И такое звучание! Было чему удивляться.

Раскраска балалайки не дала усомниться слушателям, что перед ними русский. Слышались слова «элосы, элосы, пхьяолян, пхьяолян!», что означало «русский, русский, великолепно, великолепно!» Игорь играл, позабыв и про Татьяну, и про арахис с чесноком, и про то, что завтра нужно ехать в другой город, где его ждали трудные переговоры. Откуда-то появился микрофон. Кто-то из китайцев поднёс его к балалайке, отчего та, благодарная за помощь, запела с удвоенной силой. Игорь кивком головы поблагодарил китайца, который улыбался во весь рот и продолжал держать микрофон. Русская музыка разлетелась над набережной, останавливая людей и прибавляя Игорю слушателей.

Игорь играл, наслаждаясь моментом. Внутренне поражался тому, как проникновенно слушают его люди, которых он с трудом понимал и которых осуждал за безжалостное отношение к земле. Их попытки подпевать незнакомым мелодиям и приплясывать показались ему трогательными. За эту трогательность и внимательность, и готовность подтанцовывать Игорь почти простил китайцам их ненасытное желание выкачать из земли соки, увидев в них таких же, как и в России, людей — чутких к народному инструменту и к народной музыке. Ведь в человеке главное, как говорит мама, его душа. А тут, сейчас, на огромной набережной, царствовала душа русского народа! Она магнитом притянула к себе внимание китайцев. Для духовного разговора двух народов оказались ненужными языки, ни русский, ни китайский. Это был тот случай, когда было всё понятно без слов.

Звуки русской балалайки, взбадривая одностороннюю атмосферу на набережной, как

искры, разлетались в стороны от клумбы с цветной капустой. Кружились над фонтаном и над головами людей, может быть, именно сейчас, с отчётливой ясностью осознавших, насколько прекрасна и велика Россия, о которой пела балалайка — незамысловатый деревянный инструмент с тремя струнами, но с душой, способной вместить в себя всю Россию.

БАТЮШКА **Рассказ**

Село, расположенное в сотне километров от Мариуполя, уютно примостилось на краю лесочка. За лесом находилась низина, и там — небольшое озеро с пышной растительностью по берегам. Летом здесь купались взрослые и дети, а зимой катались на коньках. Рыбу ловили в любое время года, благо, лещ с карасём не переводились. Отец Иоанн родился и вырос в этих местах, но полюбил их с особой силой, когда после окончания киевской семинарии пришёл служить в местный Никольский храм — сначала дьяконом, и через пять лет священником. Он близко узнал свой народ. Ему открылся его характер, скрытый прежде за внешней говорливостью и яркой певучестью. Увидел, насколько тяжела жизнь односельчан, озабоченных огородами, домашним хозяйством, болезнями, детьми и внуками, но умеющими находить время, чтобы прийти на литургию.

Он был благодарен людям и в ответ старался быть хорошим священником. Спешил на первый зов, никому не отказывал в требах и всего лишь один раз проявил строгость: отлучил от причастия пьяницу Гришку, который в кровь излупил свою жену и не только не раскаивался, а и пообещал прямо на исповеди «ещё ей поддать!» В остальных случаях предпочитал подолгу беседовать, вникать в суть проблем, наставлять и утешать людей. Его любили. Любили его матушку и двух сыновей, выросших в бравых черноглазых парней. Теперь им двадцать три и двадцать четыре.

В 2014 году, сразу после государственного переворота, оба сына ушли в ополчение и по

сей день воюют на Донбассе. С началом специальной военной операции, предпринятой Россией для борьбы с разгулявшимся, выползшими из щелей нацистами, вступили в действующую армию и теперь участвовали в боях за Мариуполь.

Батюшке шёл сорок девятый. Выглядел он тяжело: широколицый, высокий, с брюшком и с окладистой, начинающей седесть бородой. До всех этих страшных событий, вывернувших страну наизнанку, Украина представлялась ему таким вот сказочно красивым селом, ставшим ему родным. Подобных сёл было много, и везде жили люди с такими же проблемами, как и его односельчане. Село олицетворяло собой близость к Богу, ибо всё, что находилось рядом с природой, было одухотворено Его присутствием. Так считал и так ощущал отец Иоанн. В каждом одуванчике, встреченном по пути в храм, в каждом облаке, пролетающем над куполом, в каждой капле дождя отец Иоанн слышал дыхание Бога и душой наслаждался тем, что слышал. В городе всё было не так: множество шума, пестрота уличных вывесок заглушали Божественное присутствие. Отец Иоанн, если приходилось по делам ехать в Мариуполь, стремился побыстрее вернуться в родные пенаты, где всё напоминало о высоком служении Богу.

В селе сохранились три дома с соломенными крышами. Там обитали старики, брошенные своими детьми. Бедолаги едва передвигались от кровати к столу и перестали бывать в храме. К ним отец Иоанн ходил по воскресеньям, чтобы принести просфорки и святую воду. Иногда причащал Христовых Таин и в ответ получал слёзы благодарности. Матушка приносила продукты, соседи стирали бельё. Так и жили — поддерживая и выручая друг друга в трудную минуту.

Всё изменилось с приходом к власти нацистов и начавшимся расколом в церкви. Изменилось и внешне, и внутренне. Вчерашние друзья перестали разговаривать между собой. Село уже не воспринималось как символ одной большой страны. Да и сама страна в считанные дни распалась на регионы, воюющие друг против друга — насмерть. Отец Иоанн не знал, где,

в какой стороне теперь искать Украину, которую любил.

В церкви на исповеди иногда звучали ужасающие своей неожиданностью слова, полные ненависти по отношению к соседям, к власти и, страшно представить, по отношению к Богу. Отец Иоанн был встревожен. Невозможно вообразить, что подобное могло проецироваться на всю страну. Но так оно и было. Доходили слухи, что бандиты, ушедшие в раскол на почве отделения за образование Православной Украинской церкви, независимой от Украинской православной церкви Московского патриархата, стали громить и отбирать храмы у тех, кто считал своей духовной матерью Московскую церковь, кто поминал в молитвах российского патриарха. Дух враждебности витал в воздухе, стравливая людей, большинство из которых не понимало, что происходит. Многие обращались к отцу Иоанну:

— Батюшка, это как? Антихрист пришёл? Что делать? Может, за вилы братья?

— Молитесь, братья, о мире, об очищении души от злобы. За вилы успеется, — отвечал отец Иоанн, не зная, к кому бы самому обратиться с подобным вопросом. Обратиться было не к кому, только к Богу. И отец Иоанн молился, пытаясь уловить ответ Бога в отблесках заката, в разговорах людей, в собственном ощущении жизни. Ничего хорошего он не слышал. Всё говорило о том, что Господь попустил сделать выбор: остаться ли с Христом или под страхом смерти поддаться расколу. Попустил разобраться в своих душах и вытащить на свет Божий любовь, которая (отец Иоанн это видел) была недостаточной, Христовы заповеди не соблюдались. «Ох, дела наши тяжкие, греховные», — вздыхал отец Иоанн и со страхом смотрел в небо, где к отблескам заката примешивалось пламя пожаров от взрывов.

Что за времена наступили? Даже в селе, где, казалось, не было места ненависти, где все уважали его, даже здесь теперь полыхала вражда. Он ловил на себе взгляды, говорившие ему больше, чем любые слова. Люди по-прежнему ходили на исповедь и причащались, но в том, как некоторые из них смотрели на отца Иоанна, было нечто, что леденило

душу страхом. «Господи, помилуй!» — беспрестанно шептал он. Не выпуская чётков из рук, мерил шагами алтарь. «Неужели из-за сыновей?» — размышлял он и посоветовал матушке, чтобы та была поосторожней в разговорах с прихожанками.

В селе не осталось тех, кто воевал в Великую Отечественную, кто уничтожал изображение свастики и бил фашистов. Ещё недавно таких насчитывалось около сотни. Среди них был дед отца Иоанна. Рядовым дошёл до Берлина. Всю оставшуюся жизнь говорил, что нет ничего страшнее фашизма. Видел сгоревшие дотла деревни, трупы убитых, растерзанных людей и знал наверняка, о чём говорил. Его не стало в две тысячи десятом. Слава Богу, думал отец Иоанн, что не дожил дед до сегодняшних дней. Что бы он сказал, увидев расхаживающих по селу молодчиков со свастикой на руках? Отец Иоанн уже встречал таких. Они пока не заходят в храм, но крутятся вокруг, что-то вынюхивают. Прихожане стали реже посещать службу. Где такое видано, чтобы на литургии молилось всего два десятка человек? Но люди верные, те, кто считал раскольников — «антихристами».

Взяли его на Страстной неделе. Скорее всего, по доносу. В середине Великого поста отец Иоанн не выдержал и съездил в Луганск. От сыновей давно не было известий. Кто-то позвонил и сообщил, что старший лежит в госпитале — раненый. Вот отец Иоанн и помчался. Обернулся за один день. Объездил госпитали, но сына там не нашёл. А через два дня ранним утром в храм ворвались пять человек в камуфляже, с чёрными платками, скрывающими половину лица, со свастикой на руках и дубинками в руках. Ввалились в алтарь, выволокли отца Иоанна, готовившего Святые Дары, и помогавшего ему алтарника на середину церкви.

— Стойте здесь! — крикнул один, с устрашающим видом погрозив дубинкой.

Сами же бросились обыскивать храм. Перевернули вверх дном престол, жертвенник, опрокинули священные сосуды, швырнули на пол антиминс, Евангелие, семисвечник и на престольный крест. Из алтаря потянуло елейным запахом, — то разлилось святое миро.

Отец Иоанн ожидал, что земля сию минуту же разверзнется и поглотит бандитов. Но она даже не поколебалась. Бандиты продолжали ворошить алтарь, нецензурно ругаясь и раскидывая окурки. Разговаривали на русском, перемежая речь украинскими словами. В храме послышался женский плач.

— Что вы ищите? — спросил отец Иоанн, когда люди в масках выбежали из алтаря и стали срывать со стен иконы, заглядывая на их обратную сторону.

— Где прячешь, гнида москальская, листівки, що отримав від свого сина? Где непотребна литература? Де зберігаєш москальські журнали?

— Да тут всё москальское! Иконы и книги! Всё не наше! Рви, жги русский мусор! — крикнул другой и поднёс огонь зажигалки к пластмассовой стойке с книгами.

Вспыхнуло пламя, запахло дымом. Вздох ужаса пронёсся по храму, поднявшись к куполу, откуда на происходящее смотрел печальный лик Иисуса Христа. Сердце батюшки наполнилось болью: не ведают, что творят сыны Твои, Боже... Женщины, бывшие в храме, сорвали с себя платки и бросились к книжной стойке. Они заглушили пламя и с криком стеной пошли на бандитов.

— Геть, геть отсюда! Креста на вас нет, отступники!

Бандиты остановили женщин тем, что ударили битой отца Иоанна и алтарника. Те как подкошенные упали на пол.

— То же самое будет с вами, коли не угомонитесь, — прорычал самый здоровый из бандитов.

Он замахнулся на женщин, те отшатнулись и с плачем стали подбирать разбросанные повсюду иконы. Отец Иоанн кое-как поднялся на ноги. Ему завязали глаза и под руки поволокли из храма. Посадили в легковую машину, куда-то повезли. Как потом оказалось, в Мариупольское СИЗО. Бросили в комнату, где уже было человек двадцать. Приказали молчать, «не рыпаться» и хорошенько думать над тем, какой власти служить: украинской или российской. Вечером раздали по куску хлеба и дали напиться воды. Задержанные пили по очереди, жадно припадая к кромке ведра.

На следующий день батюшку снова куда-то повезли, теперь уже в крытом грузовике, который сопровождали молодчики с автоматами наперевес. Повязку с глаз сняли. Отец Иоанн смог разглядеть тех, кто сидел рядом. Это были не те, вчерашние, а новые в основном. Молодые ребята выглядели напуганными. Все молчали. Ехали полдня. Попали под обстрел. Стреляли свои, которые приняли грузовик за ополченский. Осколком убило шофёра. Его тело закинули в грузовик, к пленным, и поехали дальше.

Отец Иоанн впервые так близко видел войну. Убитого накрыли брезентом, который постоянно сползал, обнажая застывшее лицо. Отец Иоанн прочитал молитву об убиенном и перекрестился. Вдруг обнаружилось, что ехавшие рядом ребята, которых трясло от страха, все сплошь верят в Бога, но не знают ни одной молитвы. Глядя на отца Иоанна, они перекрестились.

— Батюшка, — обратился к нему парень, по виду — бомж. — Бог нас не бросит?

— Бог всегда с нами, — с твёрдостью ответил отец Иоанн, — молитесь. Помолимся вместе. Соборная молитва имеет громадную силу, верьте, братья.

— Отец, помолись ты за нас. Хорошенько помолись, а мы тебе поможем — мысленно, — попросил другой, который выглядел не так испуганно, как остальные. — А ну-ка, орлы, закроем глаза и подумаем о Боге. Пора, пора о Нём подумать. Думали, верно, жизнь проживёте и ни разу не вспомните о Нём? Так вот вам! Он Сам о себе напомнил. Правильно я говорю, батюшка?

— Правильно, Он всегда среди нас. Только не все хотят Его видеть, слышать.

— Как же Его увидеть, когда вокруг такое? Бомбы летят, людей убивают. Как Он выглядит, батюшка? Как бы Его не проспать, коли явится? — робко спросил парень с синяком в пол-лица и каплями крови на куртке.

— Тебя били? — отец Иоанн осторожно дотронулся до синяка.

— Били. Они всех бьют. И вас будут бить. Это фашисты. Так как же, батюшка? Как не проглядеть Бога? Как понять, что Он с нами?

Помирать не хочется... Одна надежда на Него...

— Бог — это самое простое, что есть в жизни. Он — везде и в каждом. Даже если ты не крещён, в тебе всё равно присутствует Бог. Ты — Его порождение, ты никогда не проглядишь, если будешь думать о Нём. Если не думать, то да, можно не заметить. А если думать, обязательно почувствуешь Его присутствие рядом. Он — есть любовь. Там, где любовь, там и Бог.

— Тогда я никогда Его не увижу, потому что вокруг только ненависть...

— Молись и увидишь. Своими словами проси Его об избавлении из плена. Проси, и пойдёшь.

Парень замолчал. Его худая ссутулившаяся фигура выражала грусть и отчаяние, а в глазах стоял вопрос: как не пропустить появление Бога?

К вечеру приехали в Днепропетровск, или, как его теперь именовали, Днепр. Приказали выгрузиться и бежать к зданию за бетонным забором. Когда оказались внутри, было приказано снова бежать — по длинному коридору. Отец Иоанн запыхался и на секунду остановился. В этот момент из комнаты выпрыгнули трое, затащили его в комнату и начали бить. Молча. Втроём одного. Зверья от собственной жестокости. Когда отец Иоанн уже хрипел и плевался кровью, бить перестали. Отволокли обмякшее тело в камеру и захлопнули дверь.

Сколько отец Иоанн пролежал, он не помнил. Очнулся от того, что кто-то лил на лицо воду. Лил, не давая отвернуться, целясь в рот. Отец Иоанн стал захлёбываться и потерял сознание. Пришёл в себя, почувствовав, что замёрз и что больше, чем боль во всём теле, болел желудок, требуя хоть крошку хлеба. «Господи милостивый! — взмолился отец Иоанн. — Только не уходи, не бросай меня одного с этими ... зверьми!» Он попробовал нащупать чётки в кармане рясы. Чётки не было. Тогда он взялся за крест на груди, поцеловал его опухшими рассечёнными губами и стал молиться. Молился всю ночь и всё утро. О том, что наступило утро, можно было догадаться по звуку шагов за дверью и позвякиванию ключей. Крохотное окно под потолком едва пропускало солнечные лучи.

Дверь открылась. Зашли двое. Один нёс миску с едой, второй держал наготове телефон, чтобы снимать происходящее. У первого рукава ветровки были закатаны так, чтобы виднелись наколки, изображавшие кресты и цепи. На шее при каждом движении головы шевелился выбитый чёрным портрет Бандеры. У того и у другого на рукавах болтались нашивки с резубцами. Отцу Иоанну кинули тряпку.

— Вытри рожу! — приказал старший по возрасту, тот, что с наколками. — Шас про тебя будем фильму снимать! Главным героем тебя сделаем!

И загоготал во всё горло. Поставил миску на пол, с издёвкой добавил:

— Сначала фильма, потом еда. Ну, пошевеливайся, гнида москальская!

Отец Иоанн вытер лицо, пригладил волосы, поправил крест на груди.

— Теперь слухай сюда. Вот тебе первый дубль. Скажешь на камеру, что несогласный с патриархом Кириллом, что осуждаешь его за то, что не препятствует образованию нашей самостийной церкви. Ну, начинай.

Его помощник наставил на отца Иоанна глазок телефонной камеры.

— Я не могу... — сиплым голосом произнёс отец Иоанн. — Не могу осуждать своего отца, коим является для меня Патриарх московский и всея Руси, не могу.

— Та-а-а-ак, не можешь, значит. Ну, мы люди добрые, для твоего спасения ещё два вопросика припасли. Слухай второй раз: скажи своей пастве, чтобы она переходила в Православную церковь Украины, чтобы вставала в наши ряды. Бог-то един. Какая разница, в каком храме молиться? Ну?

— Страшный грех это, — прошептал отец Иоанн. Прошептал так, будто вразумлял малых детей, с любовью и терпением. И сказал громче, видя, что «дети» его не слышат: — Грех это большой, не скажу.

— Эвон оно как! Не скажешь! Смотри, гнида. Остался только один вопрос, третий дубль, так сказать, заключительный. Представь, что обращаешься к нашим беженцам. Попроси именем Бога, чтобы они бежали к нам, в ридну неньку, а не к москалям. Ну, говори!

Отец Иоанн вытер рукавом рясы глаза, из которых сочились слёзы. Вытер бороду, ставшую мокрой.

— Не буду. Дело Божье, куда людям бежать. Господь везде поможет, главное, с молитвой. А потом...

Ему не дали договорить. Ударом свалили с ног, затем подняли. Старший, взбешённый отказом отца Иоанна делать так, как приказано, вывалил содержимое миски ему на голову. Скомандовал:

— За мной!

Отец Иоанн, держась двумя руками за крест на груди, ища в нём поддержку, двинулся вслед за мучителями. Его привели в просторную комнату, надели на голову цинковое ведро. Младший, который до этого момента снимал происходящее на телефон, стал бить по ведру чем-то тяжёлым. «Веслом», — догадался отец Иоанн. Он заметил этот предмет, когда входил в комнату. Потом ведро сняли и стали бить ведром. Из рта веером вылетели три зуба. Отца Иоанна вырвало. Фашисты, тяжело дыша, сели и закурили.

— Щас перекурим и последний дубль снимем, щас, погода немного, тварь, — старший корёжился от ненависти к попавшему в их руки священнику. До этого он не имел с ними дела и теперь считал, что поймал Бога за бороду и может разговаривать с Ним запросто и даже диктовать Ему условия.

Отец Иоанн отплевывался, протирал залитые кровью глаза и вслух читал молитву: «Ненавидящих и обидевших нас прости, Господи!» Старший взбесился. Отбросив окурки, он подпрыгнул, схватил весло и хотел шмякнуть им по спине отца Иоанна, но промахнулся, не удержал равновесие и упал. Младший захихикал и тут же получил удар в скулу.

— Ну, вот и конец фильма. Пришло твоё время, поп, — прорычал старший и направился к выходу.

По пути сорвал автомат с вешалки во дворе. Фашисты толкнули отца Иоанна к стенке, сами встали напротив. Старший передёрнул затвор автомата.

— Проси пощады, мразь!

Отец Иоанн закрыл глаза, перекрестился. На ум пришло: в какое прекрасное время Господь

решил забрать его к себе. Завтра — Пасха. И снова, в который раз прихожане Никольской церкви, в которой он служил более двадцати лет, и все православные люди на огромной Земле будут поздравлять друг друга и произносить эти восхитительные, дающие надежду слова: «Христос воскрес!», и другие будут отвечать: «Воистину воскрес!» Почувствовав какое-то движение, услышав шум, отец Иоанн открыл глаза. Его главный мучитель отбросил в сторону автомат и зажимал обеими руками нос, из которого хлестала кровь. Она растеклась по подбородку и обагрила портрет Бандеры, выглядевшего особенно зловеще.

— Что за чёрт? Откуда? — кричал старший бандит. — Сегодня твой Бог на твоей стороне, мразь москальская! В камеру его!

Отец Иоанн перекрестился. На этот раз его втолкнули в комнату, где лежали, стояли, сидели на нарах, сидели на корточках и на полу человек тридцать. Из-за смрада (он висел в воздухе и ел глаза) невозможно было рассмотреть людей.

— Эй, вы! А ну-ка, расступись! Дайте сесть батюшке! — раздался чей-то голос.

Сидящие на нарах подвинулись, кто-то встал и на его место усадили отца Иоанна. Все сгрудились вокруг него и рассматривали, кто с любопытством, кто с сожалением, а кто с равнодушием, а кто-то и со злорадством. Это было не ново для отца Иоанна. Давно знал за людьми, что некоторые ненавидят священников только потому, что они существуют на свете, потому что не пашут в поле, не тягают кувалды в кузницах, а «наедают пузо», читая молитвы. О таких он молился с особенным чаянием, понимая, как им тяжело жить в неверии. Вот и сейчас, оглянувшись, пообеда мутным, ещё не очищенным от кровавой пелены взором молодых парней и мужчин, подумал: «Слава Богу. Есть мне работа».

Отец Иоанн заметил рядом с собой худенького парня из грузовика, того самого, который спрашивал, как выглядит Бог. Синяк на лице парня из синего превратился в лилово-фиолетовый. Увидев сгустки крови, застрявшие в бороде отца Иоанна, и его окровавленный рот, с испугом спросил:

— Что с тобой делали?

— Сначала били, а потом поставили на расстрел, но Господь вмешался.

— За что тебя, батюшка?

— За то, что в Луганск съездил, сына разыскивал. А тебя?

— Я работал в магазине и ещё в 2014 году возил продукты в Донецк. Сейчас уже не вожу. Но... эти... как-то узнали, пришли, повязали меня, прямо из дома забрали. А вот того мужика, — парень кивком головы указал на громадного детину в кожаной тужурке, — за то, что позвонил родным в Луганск. Кто-то узнал, донёс, и вот... плачет постоянно. У него мать больная осталась, жена, дети. Батюшка, а вот я осмелюсь спросить: где же Бог и любовь? Как он допускает всё это? За что нас так?

— Господь не допускает, а попускает, сынок... за наши грехи.

— Как это — «попускает»?

— Это значит разрешает нам самим между собой разобраться. Ведь Он не лишил нас воли и самостоятельности. Господь даёт выбор каждому, как поступить, сдаться ли врагу или остаться при своих принципах.

С этого дня фашисты про него забыли. На допросы не вызывали, не били. Кормили два раза в день баландой, на полчаса выводили на прогулку. Заставляли, как и всех, по утрам петь украинский гимн, но, видя, что отец Иоанн вместо этого молится, не трогали его. Он провёл в застенках год. Когда наступила зима, неожиданно получил передачу с тёплой одеждой. Матушка каким-то образом нашла его и отправила посылку. Это спасло, потому что холод стоял жуткий. Отец Иоанн отдал свитер и носки худому парню — Феде, бывшему неотлучно при нём. А перед Великим постом окрестил его и ещё троих, изъявивших желание.

Отец Иоанн оказался в центре внимания. Чувствуя это, ежеминутно благодарил Господа за то, что Он сподобил узнать людей, которых, как выяснилось, отец Иоанн совсем не знал. Вся глубина человеческой греховности открылась ему в смрадной камере. Он услышал исповеди, которые никогда бы не услышал в мирной жизни. Люди настезь открывали свои души, ничего не оставляя в закоулках, ожидая

от отца Иоанна, а значит, от самого Бога слова поддержки, которые были важнее еды и в которых нуждались все без исключения.

Отец Иоанн никому не отказывал, оставляя себе для молитвы редкие минуты спокойного ночного времени, когда остальные спали. Он окончательно поседел, похудел, сторбился, борода, как и волосы, отросла. Стал похож на старца, чем едва ли не пугал новеньких, которые иногда появлялись вместо тех, кто внезапно исчезал. За год сменилась половина заключённых. Куда сокамерники исчезали, было неизвестно. Отец Иоанн молился о всех исчезнувших как о живых и о всех, кто был рядом. Не имея чётко, он машинально перебирал пальцами, когда творил молитвы.

В это было трудно поверить, но в Страстную неделю, в Великую пятницу, день в день, его, Федю и ещё десятерых освободили. Вывели из камеры, посадили в автобус и отправили напрямиком в Луганск. Оказалось, произошёл обмен пленными между Россией и Украиной. Отец Иоанн попал в число счастливчиков. Федя, бледный, с трясущимися руками, рыдал, уткнувшись в его плечо, и приговаривал:

— Слава Богу, слава Богу.

Он научился от отца Иоанна молитвам и более всего полюбил «Богородице Дево, радуйся». Но сейчас от волнения забыл слова и только всхлипывал.

В Луганске отца Иоанна встречали матушка и два их сына. Старший был на костылях, без ноги. Они смотрели на него, не узнавая, опасаясь заключить в объятия, чтобы не свалить с ног этого высохшего старца, и плакали.

ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Рассказ

Заканчивалась первая неделя Великого поста. Дни стояли тёмные, сумрачные, наполненные густыми туманами, которые приходили с востока, со стороны гор. Туман достигал города в считанные минуты. Часов в семь утра Осип Макеевич выходил на балкон и по привычке долго глядел на улицу, угадывая, какой ждать погоды. И каждый раз вздыхал: опять

солнце размыто, опять сыро, опять двадцать пять... Ему было хорошо видно, как с востока ползло плотное облако серого марева, сквозь которое едва пробивались солнечные лучи. Облако двигалось, подминая под себя крыши, фонарные столбы, деревья, и наконец достигало дома, в котором в грустном одиночестве на пятом этаже в двухкомнатной квартире жил Осип Макеевич.

Иногда воздух за окном бывал таким непрозрачным, что невозможно было разглядеть стоящие внизу машины. Туман ластился к стёклам и тонкими влажными струйками проникал на балкон сквозь щели разболтанных рам. Осип Макеевич раскрывал одну из них и выставлял старческую, высохшую от времени руку наружу — жёлтой ладонью вверх. Кожа тотчас покрывалась микроскопическими каплями воды, как будто её касалось чьё-то холодное дыхание. Постояв так несколько секунд, он вытирал ладонь о шершавые щёки и морщинистый лоб, ощущая уличную зябкость мартовского утра. В этот момент он напоминал себе мальчишку, который допоздна заигрался во дворе, замёрз, проголодался, но был радостен и весел. Это продолжалось недолго, ровно столько, сколько высыхали щёки и лоб. Однако и малого времени хватало, чтобы взбодриться ото сна и улыбнуться наступающему дню.

Осип Макеевич закрывал раму и, шаркая изношенными тапочками, которые на самом деле были вовсе и не тапочки, а нечто среднее между шлёпанцами и стоптанными кедами, шёл в комнату. Садился на скрипучую кровать и читал по маленькому затрёпанному молитвослову утреннюю молитву: «Слава Тебе, Христе Божий мой, что Ты не погубил меня с беззакониями моими, но до сего времени ещё Ты терпишь грехам моим». Он хоть и знал молитву наизусть, предпочитал читать её, потому что так оно выходило сердечней, понятливей.

Слова разлетались по комнате, и появлялось ощущение благостного умиления, которое посещало Осипа Макеевича только по утрам и только при чтении «Слава Тебе, Христе Боже мой». Кроме этой молитвы, он знал ещё две — «Отче наш» и «Богородице Дево, радуйся», но две последние читал вечером. Читал долго,

вдумчиво, испытывая наслаждение от каждого слова. Мягкие губы его неровно двигались, так же двигались и кустистые седые брови, выражая внутренний трепет и волнение.

Осип Макеевич не считал себя верующим человеком. Вернее, не знал, можно ли таковым себя считать, потому что в церкви бывал редко, по настроению, не исповедовался и не причащался. Он сильно стеснялся священников и робел, когда видел человека в рясе. На него нападал столбняк и перехватывало дыхание. Переделать себя Осип Макеевич уже не мог: в восемьдесят шесть лет трудно заводить новые привычки. До всего в религии он доходил собственным умом. Началось всё лет двенадцать назад, когда в мир иной ушла его супруга и он остался один. Правда, рядом жила разведённая дочь, а в другом конце города — замужняя внучка. Но как-то так вышло, что сердечности в отношениях не было. Никто не горел желанием встречаться. Осип Макеевич чувствовал себя заброшенным.

Да, до всего в религии доходил он своим умом. Доходил тяжело, со скрипом, проматывая назад плёнку своей жизни, вспоминая ошибки и сопоставляя некоторые факты, которые порой казались чем-то сверхъестественным, необъяснимым. В этой сверхъестественности он и увидел Бога, почувствовал Его справедливую длань и тёплый вздох любви. Осипу Макеевичу хватало трёх молитв и отрывного церковного календаря, чтобы душа его была спокойна и умиротворенна.

В дни Рождественского поста и поста Великого он к утренней молитве прибавлял ещё пятидесяти псалом, полюбившийся тем, что в нём с необычайной силой звучала просьба о прощении грехов. Но это уже был настоящий труд — справиться с псалмом. Читать Осип Макеевич не любил, к тому же и очки давно устарели. Он больше смотрел телевизор или пускался в разговоры, если предоставлялся случай. Поэтому одолеть псалом было для него нелёгким делом, но он с ним справлялся, помогая себе бровями, которые то взлетали ко лбу, то сходились на переносице, то блаженно расправлялись, и потом долго лежал на диване, отдыхая и осмысливая то, что только что прочитал.

Мысли грузно ворочались в голове, вызывая лёгкую боль в висках, а дыхание становилось прерывистым. Но он всё равно читал псалом, испытывая странное наслаждение от болезненных ощущений. Когда эти ощущения заканчивались, наступала такая лёгкость, что Осип Макеевич попервости даже пугался: уж не помер ли он, уж не ангелы ли завладели его душой и несут её к Богу? Но потом привык и ждал этой благоговейной минуты, чтобы как будто заново народиться на свет божий. Вот и сегодня, прочитав молитву и пятидесятый псалом, опустошённо повалился на постель и закрыл глаза, прислушиваясь к постукиванию в висках. Затем, дождавшись, когда виски успокоились, а в душе наступила невесомость, встал и широко перекрестился.

День начался. Осип Макеевич скудно позавтракал вчерашней жареной картошкой и несладким чаем. Скудно не потому, что пост. Просто он давно уже питался как воробышек. В пост ел всё без исключения, только очень маленькими порциями, и убирал сахар из рациона и сало. Надо же в чём-то себя ограничить, думал он, пряча кусок им же приготовленного пахучего сала в дальний угол морозилки.

После завтрака Осип Макеевич тщательно вытер стол и принёс из серванта школьную тетрадку, наполовину исписанную. С некоторых пор им овладела страсть к сочинительству. Это было второе после молитв и псалмов занятие, которое появилось на фоне одиночества. Осип Макеевич вдруг стал писать стихи. Небольшие, строчек в восемь, всегда на одну тему — о том, как грустно ему живётся и как быстро уходит время. Он не знал, считать ли его стихи стихами. Иногда чувствовал, что в них что-то не так, что-то с чем-то не сходится, но продолжал писать, потому что сочинительство приносило такое же облегчение, как и молитвы.

Однажды он показал стихи внучке, надеясь на похвалу и понимание. Но внучка громко рассмеялась и безжалостно заявила:

— Дед, ну разве это стихи? Рифма не сходится, одна строчка длиннее трёх остальных. Ты бы лучше Пушкина почитал, поучился.

Осип Макеевич обиделся. Ему его стихи нравились. Он чувствовал, как из души выли-

вается что-то горькое и переходит в строчки, освобождая в душе место для жизни. Он ничего не сказал внучке, но сочинять продолжил. Сегодня отчего-то не писалось, впрочем, как и вчера. Может, всё дело в тумане? Быстрее бы выглянуло солнце... Осип Макеевич принялся ходить из угла в угол, поправляя вещицы на полках, расправляя плед на диване, взбивая и перекладывая с места на место подушки.

Закончив наводить порядок, взял гирию в пять килограммов, всю проржавевшую, и занялся упражнениями. Раньше он легко перебрасывал груз из одной руки в другую, сгибая и разгибая руку, прижимая гирию к груди. Сейчас всё давалось с напряжением и не больше трёх-пяти раз. Уже при счёте «два» руки начинали дрожать, и гирия норовила упасть на пол. Осип Макеевич пыхтел, но не сдавался. У него была слабая спина, и таким образом он всю жизнь укреплял свой мышечный корсет. После гири он смотрел телевизор, потом дремал, потом варил себе жидкий суп с вермишелью, куда крошил репчатого лука и хлеба. После обеда снова смотрел телевизор и снова дремал.

В начале пятого оделся и вышел из дома.

К улицам подкрадывались сумерки. Туман неохотно отступил, оставив после себя плотный влажный воздух, в котором улавливалось дыхание весны, ещё несмелой, но уже по-юному дерзкой, задиристой. Дома и деревья, тёмные, невесёлые, не успев толком пробудиться, вновь готовились к ночному сну. Кое-где зажигались огни, пахло землёй, свежестью, и чем-то пряным, как это обычно бывает, когда наступает весна и набухают почки. Несмотря на серость дня, нечто яркое, энергичное носилось в воздухе и заставляло дышать полной грудью. Вдали смутно виднелись круглые синеватые облака, слегка зашторенные уходящим туманом, более прозрачным, чем утром.

Перед Никольской церковью, блестящей синими боками, Осип Макеевич увидел множество разных легковых автомобилей. «Служба», — догадался он и, перекрестившись, шагнул на деревянное крыльцо, затем в храм. Там стеной стояли люди, а за ними брезжил свет, как будто там, у Царских ворот, разгоралась заря. Запах многолюдного дыхания и тепла от

горящих свечей ударил в ноздри. Осип Макеевич ещё раз перекрестился. Он вошёл в тот момент, когда молодой батюшка в очках, с короткой бородкой сказал:

— А теперь мы с вами проведём общую исповедь. Слушайте внимательно и кайтесь, кайтесь, ибо сказано Ефремом Сириным: «...Лучше сегодня покаемся, ибо не знаем, доживем ли до завтра».

Осип Макеевич притулился у стенки, где нашёл место, и прислушался. Общая исповедь заинтересовала его, потому что он прежде не знал, что такая существует. Батюшка прочитал слова незнакомой молитвы, а потом начал перечислять все возможные грехи. И тут Осип Макеевич несказанно удивился. Раньше он считал, что грехи — это что-то тяжкое, вроде убийства, предательства, воровства и другое им подобное. Но из слов батюшки выходило, что редко какая мысль не бывает греховной, а уж поступки греховны на каждом шагу!

Перечисление грехов продолжалось минут пятнадцать. Слыша такое, Осип Макеевич изумлялся всё больше. Он ждал, что батюшка вот-вот закончит свою речь, но тот всё продолжал и продолжал, чем вгонял Осипа Макеевича в смятение. Осип Макеевич почувствовал, как весь сжался, сгорбился, как грудь ушла куда-то внутрь, а сердце опустилось к животу. Его как будто придавило чем-то тяжёлым. Придавило, да ещё и скрутило так, что ни рукой пошевелить, ни голову повернуть. Долго так стоял Осип Макеевич, готовый заплакать от чувства стыда за свою жизнь, от чувства горечи и своей бестолковости. В его-то возрасте не знать, что такое грехи! Не знать и не каяться в них! В каком-то дурмане и страшном смятении он достоял до того, как умолк батюшка, сказавший напоследок:

— Все, кто сегодня присутствовал на общей исповеди, завтра после литургии можете подходить к причастию.

— Что? Как? — не понял Осип Макеевич и спросил у старушки:

— Что — после литургии? Можно причаститься?

Старушка, добродушная на вид, строго ответила:

— Ну как же? Завтра утром после службы будет причастие, такое правило.

Она недовольным тоном что-то ещё говорила Осипу Макеевичу, но он уже не слушал и вышел из церкви. Он понял главное: завтра после службы можно будет причаститься, то есть подойти к Чаше и съесть то, что священник кладёт в рот людям. Осип Макеевич ни разу этого не делал, только видел, как причащаются другие. И знал, что в Чаше — тело и кровь Христовы. Раньше он думал обо всём этом с долей скептицизма, а тут самому страстно захотелось подойти к Чаше с раскрытым ртом и сложенными на груди крест-накрест руками, чтобы впустить в себя Христа, к которому он после исповеди проникся великим уважением и доверием.

Стоя в храме, он вдруг осознал свою ужасную греховность, своё ничтожество и мерзость, свою убогость перед лицом Бога и поразился Его долготерпению по отношению к нему, Осипу Макеевичу. Ведь многие в его возрасте уже еле ноги волочат, уже сами и постель не заправят, на горшок не сходят. А он ещё полон сил: летом на огороде ковыряется, зимой дома с гирей тренируется. Осип Макеевич увидел, что Бог не сердится на него, бывшего слесаря-гуляку, коли позволил дотянуть почти до девяноста лет. Не сердится, а, напротив, поддерживает. Поэтому он твёрдо, радостно и вдохновенно решил стать поближе Богу, попробовав из Его Чаши.

Домой Осип Макеевич возвращался, не замечая мелкого дождика и ветра. Он думал о том, что ничего не просит у Бога, кроме как сохранить существующее положение вещей, чтобы в жизни оставались огород, гиря, стихи, молитвы с псалмом и его родные, пусть и такие равнодушные к нему...

КОЛЬКА КАРЯКИН

Рассказ

Карякин впервые в жизни ехал в санаторий. Он уже лет пять как страдал болезнью суставов. Лечился, регулярно ходил к врачу, выпрашивал таблетки, пил их горстями, но толку было мало. Жена лепила ему на колени листья

капусты и обмазывала локти мёдом, смешанным с корицей, однако и это не помогало. Карякин кряхтел, просыпаясь по утрам. Вставал, шёл в ванную и проклинал всё на свете, в том числе и собственную жизнь. Болеть он начал, как ушёл на пенсию. Отбарабанил пятьдесят лет в жилищно-коммунальном хозяйстве, где покоя не было ни днём ни ночью, думал, проживёт в своё удовольствие, побегаёт на рыбалку. Да не тут-то было. Колени так скрутило, что он едва спускался с четвёртого этажа.

Врач, видимо, чтобы Карякин хоть на время отстал от него, посоветовал обратиться в социальный отдел за путёвкой. Выписал направление, оформил курортную карту и пообещал улучшение после радоновых ванн. Карякин воодушевился. Сказать про него «воодушевился», это очень сильно сказать, ибо по характеру он был нечувствительным к доброте, никогда не радовался и не пускал, в порыве чувств, слезу. Последний раз плакал в детстве, которое провёл в детдоме. Старшие мальчишки жестоко, до крови и потери зуба отлупили его за предательство. За то, что выдал взрослым тайник, где они прятали папиросы и алкоголь. С того времени Карякин затаил злобу на всё человечество и никоим образом не отреагировал даже на рождение единственного сына, который как-то быстро повзрослел и исчез из их с женой жизни.

Тем не менее, получив на руки путёвку, испытал лёгкое возбуждение. Повертел в руках бумажку, помял её и сказал жене:

— Слышь, может, лучше деньгами попросить?

— Размечтался! Деньгами тут не дают. Ехать надо.

— Поеду, ясен пень. Бесплатно. Это ж какая экономия: восемнадцать дней меня кормить-поить будут. Пожирую хоть раз в жизни. Ты тут без меня смотри не шикуй. Знаю я тебя! Побегу-жши транжирить.

Для острастки ткнул супругу под ребро и на всякий случай отскочил в сторону. Та могла и сдачи дать. Он был в два раза меньше её, поэтому не рисковал. Худой, кривобокий, с длинной, непропорционально толстой шеей и длинными костлявыми руками, которые топорщились по бокам его нескладного туловища, Карякин

напоминал подбитую птицу. Вытарашенные, будто застывшие в вечном страхе глаза наводили на мысль о старом филине.

Все его звали не по имени-отчеству, как полагается в столь почтенном возрасте, а просто Колькой. Или Коляном. И только врача величала — Николай Васильевич. Но она, подозревал Карякин, втайне смеялась над ним. Над его болью, над его попытками показать, как неуклюже он теперь приседает, почти падает. Над тем, что не может толком показать, в какой точке болит. А он ненавидел её. За то, что не в состоянии вылечить колени, за то, что не верит ему, подозревая в нём симулянта, и вообще, за то, что была совсем из другого мира, где, наверное, не считают каждую копейку. А если и считают, то ведь от жиру, а не так, как он, от крайней нищеты.

Не зря он предупреждал жену. Без него она могла позволить себе лишнего. Купить, например, кока-колы или пирожное, что при Карякине категорически не допускалось. Он был жаден до безобразия. И нельзя сказать, что мало получал. В советские времена имел нормальные деньги, умудрялся подрабатывать сверх ставки, но почему-то всегда считал себя нищим. Нищим не в смысле «духом», о чём в Библии сказано: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное», что подразумевает отдание себя Богу и опустошает человека от страстей, нет. Нищим по своему ощущению жизни, по взгляду на то, как она устроена. Он видел в ней, как и в людях, одну только гадость и мерзость, не допуская мысли о существовании добра и любви. Считал, что счастье — привилегия богатых. Таким же, как он, самой судьбой предначертано прозябать в грязи и быть униженным.

Карякин имел квартиру, работу, позже — пенсию, но чувствовал себя так, будто живёт под мостом в картонной коробке, среди людского отребья, каким он представлял своё окружение. Постоянно оглядывался, опасаясь обмана. То и дело прислушивался, ожидая оскорбления. Случайно брошенный в свою сторону взгляд воспринимал как обиду, поэтому постоянно был в напряжении. Каждый месяц ему начислялась пенсия в размере восемнадца-

ти тысяч, которую он почти всю откладывал на сберкнижку. Так повелось с советских времён, когда жили на одну только зарплату жены, его, нетронутая, шла в сбережения.

Один раз накопления сгорели. В девяностые годы в стране произошёл денежный обвал. Но вместо того чтобы расстроиться, он тогда испытал зловую радость. Будто получил подтверждение своего нищенского статуса и разгадал задумку государства — ограбить таких, как он. И стал ещё с большим рвением собирать деньги. На что он копил, было непонятно. Когда однажды откуда ни возьмись появился сын, седой, обросший, голодный, и попросил денег, Карякин ему не дал. Сказал, что каждый живёт как может. И жене не разрешил дать.

Эта мысль относительно того, что каждый живёт как может, часто блуждала в его голове, ставя в тупик перед необходимостью понять, что же это за штука такая — жизнь? Для чего дана человеку и на каком основании кем-то отнимается? Думал Карякин мало, в основном о деньгах и о том, что все вокруг — сволочи. Неразвитые от природы эмоции, тугодумие и узость кругозора отпечатались на его лице. Оно всегда выражало одно и то же: настороженное недоверие и какую-то ужасную неповоротливость ума, тяжеловесность, будто его чем-то крепко придавили. Эта придавленность была главным, что видел посторонний человек в Карякине и что отталкивало от него людей.

Удивительно, но в своё время он женился! Вероятно, супруга по молодости не разглядела в нём ни жадности, ни тупости, прельстившись на то, что Карякин не пил и даже не курил. А когда разглядела, было поздно что-то менять — привыкла. Правда, в начале их совместной жизни, когда дело касалось экономии денег и Карякин распускал руки, она хотела сбежать. Но потом научилась давать сдачи. Несколько раз отвесила тумачков, от которых Карякин едва очухался, на этом дело и закончилось.

— Поезжай, — сказала она мужу, — как раз к Пасхе вернёшься. За деньги не беспокойся, я тут без тебя попошусь хорошенько, так что — ничего лишнего не куплю, не переживай.

Нельзя сказать, чтобы она была верующей женщиной, но лоб крестила, посты хоть и не

держала, но в настенном календаре отмечала и любила захаживать в церковь. Говорила, там ей спокойно и поплакать хочется. Бывало, загрустит, затоскует и пойдёт в церковь. Наплачется там в уголочке под иконой Николая Угодника, утрётся платком, свечку о здравии сына поставит и вернётся домой притихшая. Дома поплакать не давал Карякин. Как только он видел, что жена скуксилась и готова зареветь, то буквально свирепел. Драться боялся, так зато крушил всё подряд. Схватит табуретку, размахнётся и об пол, об пол!

— От какой такой горькой жизни убиваться вздумала? Кто тебя, падлу, обижает? Живёшь как в масле катаешься! — кричал.

После нескольких табуреток и оторванной столешницы бедная женщина зареклась плакать даже в отсутствие мужа, который нутром чувствовал её настроение. Приучила себя держаться до церкви, где давала волю чувствам, выплакивая смутную глубокую печаль, живущую в сердце. Новость о том, что Карякин едет в санаторий, привела её в восторг. В первый раз она оставалась так надолго одна. Обычно, если Карякин уезжал, то на день-два, на рыбалку. А тут целых восемнадцать дней счастья! Но вида не подала, потому что равно, как и слёзы, муж ненавидел радостное выражение её лица. Сразу подозревал какую-нибудь подлость в свою сторону: денежный обман или, того хуже, супружеский.

— Поезжай, — повторила она, стараясь не смотреть на Карякина, чтобы не выдать себя, — отдохнёшь...

— От тебя, — ухмыльнулся Карякин и приступил к сборам.

Чемодана в семье не водилось — за ненадобностью, поэтому вещи сложил в китайскую клеёнчатую сумку, с которой обычно ездил на базар. Из вещей выбирать было нечего: пару футболок, трусы с майкой, домашнее трико, тапки. На дворе стоял апрель, дело шло к теплу, поэтому нагружаться не стал, надеясь на солнечную погоду. Вечером, в день отъезда, натянул на себя пузырившиеся на коленях брюки, растянутый свитер, стоптанные кроссовки, куртку и кепку. Взял в руки сумку и отправился на вокзал.

Ехать было двенадцать часов на поезде и затем три часа на электричке. В поезде Карякин всё время спал. Утром выпил горячего чая с бутербродом, прихваченным из дома, а в электричке, на которую пересел спустя два часа после прибытия в Барнаул, съел варёное яйцо и солёный огурец. Чувствовал он себя превосходно. Впереди ждали восемнадцать дней, полных заботы о нём и бесплатной еды. Карякин смотрел в окно на проплывающие мимо редкие лесочки и думал о своих больных коленях, о том, что надо будет после санатория поделывать компрессы из варёной картошки. Говорят, помогает.

На одной из станций в вагон зашёл нищий. Это был мужчина лет сорока с испитым, опухшим, синюшного цвета лицом. Огромный тёмно-фиолетовый синяк закрывал правый глаз, левый смотрел сквозь щёлку. Крылья носа были покрыты беловатыми струпьями, как и сухие губы, изображавшие пренебрежительно-горделивую улыбку. Под улыбкой виднелись гнилые редкие зубы жёлтого цвета. На мужчине был одет затрапезного вида пиджак на голое тело и широкие, все в пятнах, брюки, которые держались на верёвке.

Нищий остановился в начале вагона, картинно поклонился, прижав грубые кисти рук к груди, и обратился к пассажирам:

— Леди и джентльмены, подайте кто сколько может!

Голос его оказался довольно громким и чистым. Говорил уверенно, без излишней мольбы, так, будто все ему были должны, ну просто обязаны ответить деньгами на его просьбу.

— Господа! — продолжал нищий. — Подайте, ради Христа. Три дня не ел. Скажу честно, мог бы и украсть на базаре, да боюсь, что догонят и накастыляют. А бегать я не могу, одна нога зашиблена с детства.

Заметив, что женщина, рядом с которой он находился, брезгливо прикрыла рот рукой и с ужасом смотрит на его расквашенную физиономию, простодушно улыбнулся и пояснил:

— Ха, вы правы, леди. Я пью. Пью страшно и каждый день. И деньги, что вы мне дадите, тоже, скорее всего, пропью. А что делать прикажете? Каждому — свой крест.

Женщина кинула в раскрытую ладонь пятьдесят рублей и отвернулась. Нищий галантно заметил:

— Бог воздаст вам за вашу щедрость.

Пассажиры оторвались от своих дел и стали смотреть на него. Что-то в нём было захватывающее, мощное, редкое по силе экспрессии, скрытой в движениях рук, поворотах головы и даже в складках грязной одежды. Кто-то полез в карман, кто-то в сумку, и деньги посыпались в подставленную для этого случая истрёпанную коробку из-под обуви. Нищий шёл по проходу и собирал деньги. Кланялся, улыбался, что-то приговаривал насчёт всеобщей доброты и милости Божьей, и снова кланялся.

— До чего же народ наш сердобольный, — сказала то ли с одобрением, то ли с осуждением благообразного вида старушка, сидящая справа от Карякина, но денежку, копейки, всё же бросила.

В коробке уже лежала приличная кучка купюр, вид которой нарушил приятное течение мысли Карякина и вызвал раздражение. Можно было и не давать деньги, не все это делали. Но самоуверенная наглость нищего взбесила его. Ему почудилась в словах попрошайки насмешка. Мол, смотрите, какой я ловкий, а ведь не откажете! Карякин враждебно оскалился и, не в силах сдержаться, крикнул:

— Скотина! Что же ты за тварь такая, что пристаёшь к людям? Не живёшь, а барствуешь! Мне, например, деньги доставались потом и кровью! Колени болят, лекарства не могу купить! А ты, ублюдок, вот так запросто бабки гребёшь? Гнида, мразь.

Больше, чем откровенная наглость, Карякина задела свобода в мужике, отсутствие в нём какого бы то ни было страха. Сам он боялся всего на свете: гроз, ветра, очередей, скопления народа; боялся, что пенсия опоздает, что продукты подорожают и поднимутся цены на коммунальные услуги. Сейчас же перед ним стоял человек, для которого ничего этого не существовало, который был абсолютно свободен от всяческой боязни. Нельзя сказать, что раньше Карякин не встречал бомжей. Но на эту гниль человеческую он даже внимания не обращал. Ни разу копейки не кинул и жену

останавливал, когда та лезла за мелочью. А тут — прямо перед глазами маячит, распинается, разглагольствует и деньги требует!

Кроме того, он увидел в попрошайке человека, который был более нищ, без сомнения, по-настоящему нищ в сравнении с ним, с Карякиным. Колян привык считать себя обделённым. Это давало право жалеть себя и считать жертвой обстоятельств, а потому втайне гордиться собой. Ведь нищий является укором обществу! Карякину нравилось быть таковым, вернее, не быть, а чувствовать. И вдруг в лице какого-то доходяги он видит укор самому себе, своему существованию! А Карякин терпеть не мог упрёков в свой адрес. Вся его гордость вставала на дыбы. И, вероятно, Колька уловил в бомже ту нищету духа, о которой пишет Библия. Карякин Библию не читал, однако смог почувствовать разницу между собой и человеком, который настолько открыт и свободен, что Бог, о котором Карякин думал, что он для избранных, свободно входит в него и делает светлым, несмотря на фиолетовый синяк во всё лицо.

Нищий на мгновение оторопел. Смотрел одним глазом на Карякина, пытаясь понять, что человеку надо. И вдруг сообразил.

— На, на, возьми, братан, — смущённо забормотал он и стал выгребать из карманов деньги и класть их на колени Карякину. Потом вытряхнул туда же содержимое картонной коробки.

— Возьми, братан, — твёрдо и радостно произнёс он. — Тебе они нужнее сейчас, а мне ещё люди подадут, они у нас добрые.

— Нет у нас добрых людей! — взвизгнул Карякин. — Нету! Одна сволочь кругом!

Карякин окончательно вышел из берегов и не понимал, что несёт. На него осуждающе смотрела соседка-старушка, а другие, ближние к нему пассажиры, стали шушукаться и говорить что-то насчёт того, что слишком много развелось дураков и идиотов.

— Как это «нет добрых людей»? — переспросил ошарашенный нищий. — Посмотри, братан, полный вагон добрых людей. Так что не отказывайся! А я пошёл. Бывай!

И направился к выходу.

— Нет уж, постой! Постой! — схватил его за полу пиджака Карякин. — Забери свои гроши!

Деньги рассыпались по проходу. Нищий перешагнул их и удалился с видом человека, которого только что рассмешили. Карякин задыхался от злости. Он тупо смотрел на валяющиеся на полу вагона бумажки и, казалось, не понимал, что происходит. Подскочил мальчик лет шести, наученный мамой, собрал деньги и стопочкой аккуратно положил на колени Карякина. Тот уставился на помятые купюры, затем сжал их в кулаке и вдруг заплакал. Со стороны было непонятно, плачет ли он или кривится от зубной боли. Но он плакал. Плечи его содрогались, руки тряслись, на глазах показались слёзы, дряблые щёки покрылись нездоровым румянцем, изо рта вырывался то ли хрип, то ли стон, такой тихий, что его можно было и не слышать, но старушка-соседка услышала.

— Да ты что, милоч, — прошептала она и погладила сухонькой ручкой Карякина по голове. Для этого ей пришлось приподняться со своего места. Погладила раз, другой, третий и повторила: — Что ты, милоч, что ты? Возьми деньги-то, их тебе от чистого сердца дали. Считай, сам Господь подал. Сейчас Великий пост идёт, вот Господь и ходит меж людей под разным обликом. Точно, точно тебе говорю, сам Христос тебе подал!

При этих словах, почувствовав лёгкость старушечьей руки и её ласковость, Карякин разрыдался по-настоящему. Он склонился, уткнулся лицом в ладони и плакал, плакал, как никогда в жизни. Плакал второй раз после того случая в детстве. Плакал и думал о нищем, о себе, о своих больных коленях и о своей пропащей жизни, о которой он думал, что она презренна, но вместе с тем и благородна, ведь у него была сберкнижка и немаленькая сумма денег на ней. А тут оказалось, что есть ещё более презренный человек, который ни во что не ставит деньги и который настолько благороден, что отдал всё, что выпросил, первому встречному — Карякину. Отдал только потому, что пожалел скрюченного от боли старика. Широта натуры нищего поразила Карякина.

Жалость к себе, такому несчастному, никому не нужному, захлестнула Карякина, вызывая

новые приступы рыданий. Ему припомнился детдом. Вот он лежит в постели, один, тело бьёт лихорадка, в глазах темно, и кто-то невесомой ладонью, словно пёрышком, гладит его по голове, и кто-то шепчет слова, которые трудно разобрать, но от которых идёт волна подмоги, и кто-то поит его с ложечки сладким чаем. Когда он выздоровел, то не решился спросить, кто же это был? Все, на кого он глядел, не подходили на роль утешителя. Потом эпизод забылся и вот вдруг всплыл в памяти.

А старушка всё гладила и гладила его. Карякин постепенно затих. Но долго ещё не понимал головы. Было стыдно. Стыдно, что не просто проявил слабость, а сделал это на людях. Казалось, поднимет голову и увидит смеющиеся рожи. Однако никто не смеялся. Даже не смотрел в его сторону. Никому он не был нужен. Только старушка заботливо совала ему салфетку:

— Оботрись, милоч...

Карякин вытер лицо.

— Мать, возьми деньги. Куда они мне?

И стал толкать в сухонькие ладони старушки скомканные купюры.

— Ты посчитай, сколько тебе Господь послал, — посоветовала старушка, отстраняясь от денег.

Карякин посчитал. Оказалось, пять тысяч 235 рублей — мелкими купюрами.

— Вот и слава Богу, возьми, милоч, и поблагодари Бога.

— Как же Его благодарить?

— Да просто, так и скажи, спасибо тебе, Господи. Зайдёшь в церковь, свечку поставишь, вот и будет благодарность.

Объявили нужную Карякину станцию. Он неловко, будто в чём-то был виноват, кивнул старушке, положил деньги в нагрудный карман и вышел из вагона. Добрался на автобусе до санатория и к вечеру уже совершенно успокоился, захваченный новизной незнакомой обстановки.

Радоновые ванны ему понравились. Необычное ощущение расслабленного блаженства охватывало Карякина, когда он опускался в воду и лежал, млея от удовольствия, пятнадцать минут. А после шёл в специально отве-

дённую для отдыха комнату, где опять лежал, закрыв глаза. Но больше ванн понравилось питание. Особенно то, что надо было заранее делать заказ на следующий день. Карякин надувался от важности, подробно изучая меню и делая в нём пометки напротив понравившихся блюд. Всё это было ново для него. Самым удивительным было то, что все тут звали его по имени-отчеству. И Карякин понял, что самые приятные слова на всём белом свете — это его собственное имя — Николай Васильевич. А когда соседка по столу сказала, что так звали известного старинного писателя Гоголя, то Карякин и вовсе смутился, преисполненный нежности к себе. И решил, что отныне никому не позволит обращаться к себе как к Кольке.

В первое воскресенье, когда не было процедур, отправился в город. Идя по улице, Карякин пребывал в благостном настроении и размышлял над тем, что нелишне было бы ездить в санаторий каждый год. Колени по-прежнему болели, но кряхтел он меньше. Карякин весь приосанился, даже стал прямее и замечал за собой, что слегка посвистывает. Идёт и посвистывает. Вот и сейчас идёт и свистит — аки птица! Внутри Карякина что-то свербело, такое приятное, как будто кто на гармошке играл. Он пришёл в возбуждённое состояние и засвистел громче: фьить, фьить, фьить! Жизнь-то, оказывается, прекрасна!

Свист прекратился, когда он увидел впереди церковь. Карякин тотчас вспомнил нишего из электрички и соседку-старушку. Машинально потрогал нагрудный карман. Деньги были на месте. Что-то как будто толкнуло его, и ноги сами понесли в сторону церкви. Она находилась на крутом пригорке, который, как фантастический гриб, выпирал из земли. Чтобы взглянуть на купол, пришлось закинуть голову назад. Небольшая, ладная, под крестом, который делал её ещё выше. Карякин на секунду остановился, оценивая обстановку, и двинулся наверх. Приходилось сильно наклоняться вперёд и делать маленькие шажки, чтобы не споткнуться о выбоины в тротуаре.

От напряжения заныли, заскрипели колени и благостное настроение как ветром сдуло. Карякин медленно полз в гору. Ино-

гда останавливался, чтобы передохнуть. Но вот, наконец, и железные ворота, за ними ещё немного в гору, и он очутился перед тяжёлой дверью. Карякин никогда не был в церкви и, что там делать, не знал. Осторожно зашёл внутрь, огляделся. Иконы, горящие свечи произвели на него одурманивающее впечатление. Было чувство, что он попал в сон, в котором замедляются движения и всё в какой-то дымке...

Карякин присел на скамейку у стены. Народу почти не было. Вероятно, недавно закончилась служба. Пахло чем-то приторно-сладким, древесным. В воздухе висела пелена — синеватая, прозрачная... Зачем он сюда зашёл? Карякин потёр колени — болят. Откуда-то появился священник, бородатый мужик в чёрной рясе. Он быстрым шагом прошёл мимо Карякина, задев его концом своей одежды. Какая-то женщина кинулась к нему, сложила крест-накрест ладони и преклонила голову. Священник положил на её голову руку и что-то сказал. Лицо женщины засияло. Было в этой сценке что-то очень важное, чего Карякин понять не мог, но хотел бы, потому что и от священника, и от женщины исходили мягкость и теплота, незна-

комые Карякину. Он никогда так ни с кем не общался.

Справа от себя Карякин увидел высокий ящик с прорезью на крышке, на котором было написано: «Пожертвования на храм». Секунду подумав, вынул из нагрудного кармана деньги, 5235 рублей, и попытался просунуть всю пачку в ящик. Они не входили, и тогда он стал заталкивать по несколько купюр. Впервые в жизни Карякин отрывал от себя деньги: не складывал их в копилку, а отдавал. Пусть именно эти достались ему странным образом, пусть они были не совсем его. Но он к ним привык и уже считал своими, и даже строил планы на их счёт. Но какая-то неведомая сила заставляла его распрощаться с деньгами. И чем меньше оставалось купюр в руке, чем быстрее они исчезали в ящике, тем легче становилось Карякину. Он ощущал эту непривычную лёгкость где-то внутри себя и недоумевал: что это, почему он радуется, расставаясь с деньгами? И поймал себя на мысли, что не хочет знать ответа на вопрос. Довольно того, что чувствует эту лёгкость, которая так далека от вечного его ощущения своего нищенства.

Вера Владимировна СЫТНИК

родилась в городе Комсомольске-на-Амуре. Филолог по образованию (ОмГУ). Пишет прозу. Автор двадцати книг для детей и взрослых. Публиковалась в журналах «Север», «Берега», «Южная звезда», «Сура», «Новая скала», «Союз писателей» и др. Лауреат литературной премии журнала «Сура» (2023), а также международных конкурсов. Обладатель специального приза от издательского дома РПЦ на Международном Славянском форуме «Золотой витязь» в номинации «Дорога к храму» (2018). Рассказы переведены на английский, итальянский, немецкий языки.

